

**ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.
СКОК В БЪДЕЩЕТО:
ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА ЕВРОПА?
В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА**

ISSN ONLINE 1314-6645

Михаил Ковальов,
доцент, доктор по история
в Саратовския държавен технически университет “Ю. Гагарин”,
научен сътрудник в Института по обща история на РАН, Русия

ИСТОРИКИ ЗАРУБЕЖНОЙ РОССИИ: МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ И ЖИЗНИ

Интеллектуальные миграции были неотъемлемой частью минувшего XX столетия. Многочисленные политические катаклизмы и социально-экономические трансформации неминуемо приводили к исходу или изгнанию определенного числа деятелей науки и культуры. В этой связи для России знаковыми оказались революция 1917 года и последовавшая за ней Гражданская война, которые привели к оттоку значительной части образованных людей (до четверти профессорско-преподавательского корпуса) и формированию уникального исторического феномена – Зарубежной России. Эти события драматически отразились на судьбе гуманитарного знания, а особенно на исторической науке, естественный ход развития которой был прерван. За пределы России попали десятки ученых-историков. Все они были свидетелями колоссальных социальных,

политических, экономических и культурных сдвигов. На их глазах рушился прежний мир, изменялись общественные отношения, возникала новая иерархия ценностей, создавались новые идеологические конструкты. Переживаемые потрясения отразились не только на личных судьбах ученых-историков, которым пришлось резко перестраивать жизненные программы, но и на их научном творчестве.

За рубежом оказались представители не только разных научных направлений, занимавшихся как российской, так и всеобщей историей, но и разных поколений. Среди них были и уже известные, сложившиеся ученые (Александр Александрович Васильев, Роберт Юрьевич Виппер, Александр Александрович Кизеветтер, Никодим Павлович Кондаков, Павел Николаевич Милюков, Владимир Федорович Минорский, Михаил Иванович Ростовцев, Евгений Францевич Шмурло и прочие), и те, чья научная карьера находилась на старте (Георгий Владимирович Вернадский, Иван Иванович Гапанович, Михаил Михайлович Карпович, Сергей Германович Пушкарев и другие). Но были и те, кто попал за границу в молодом возрасте, и чей научный профиль начнет складываться уже за рубежом (Николай Ефремович Андреев, Андрей Николаевич Грабар, Сергей Александрович Коновалов, Андрей Анатольевич Лобанов-Ростовский, Георгий Александрович Острогорский и иные) на пересечении эмигрантского и иностранного культурных миров. Попутно заметим, была еще одна категория выходцев из эмигрантской среды. К ней относились, к примеру, африканист Игорь Копытов (Igor Kopytoff), слависты Марк Раев (Marc Raeff) и Николай Рязановский (Nicholas Riasanovsky), византиновед Дмитрий Оболенский (Dimitri Obolensky), востоковед Вадим Елисеев (Vadime Elisseeff), майянист Татьяна Проскурякова (Tatiana Proskouriakoff). Они не принадлежали в полном смысле слова к Зарубежной России, ибо либо покинули Родину еще детьми, либо родились уже за ее пределами. Их становление и развитие как ученых происходило в большей степени в иностранном интеллектуальном окружении. Но даже при этих обстоятельствах они оставались сопричастными русскому научному миру и русской культуре. Для некоторых из них эта сопричастность вылилась в занятия российской историей.

Русские историки-эмигранты, разумеется, не образовывали, да и не могли образовать единой научной школы. Слишком разными были их научные пристрастия и методологические взгляды, исследовательская квалификация, академический статус, политические убеждения, поколенческая принадлежность. Не будем забывать и о том, что, несмотря на стремительное развитие техники, уровень коммуникаций в межвоенный период был принципиально иным, чем сегодня. В условиях

распыленности эмигрантов по всему миру обмен информацией и даже простое общение между ними были затруднены. Мобильность была обременена паспортно-визовыми формальностями. Так, путешествие из одной европейской страны в другую на сравнительно небольшое расстояние требовало оформления множества документов и при этом уплаты пошлин. К тому же на поездки у эмигрантов чаще всего не было денег. При организации научных стажировок, экспедиций приходилось рассчитывать лишь на щедрость меценатов. Так, экспедиция Николая Андреева в Печорский край летом 1937 года для изучения русского иконописания стала возможной только благодаря дару американского летчика Чарльза Линдберга (Charles Lindbergh). Система грантов и стипендий еще не была широко развита в мире. Даже поиск нужных изданий часто становился большой проблемой, растягивался на длительное время, поскольку еще не существовало глобальных, отлаженных систем книгообмена. К примеру, молодой русский историк Дмитрий Александрович Расовский в 1934 году признавался в письме к своему венгерскому коллеге Дюле Моравчику, что ему очень трудно следить из Праги за «мадьярской литературой». И это при том, что Будапешт имел налаженное транспортное сообщение с чехословацкой столицей и располагался в 500 километрах от нее.

Эмигрантское бытие ставило вопрос о самоорганизации русских ученых за рубежом, для их деятельности было характерно стремление к созданию научно-исследовательских учреждений, культурно-просветительских обществ, а также неформальных объединений, таких как научные кружки или домашние семинары. В межвоенный период они возникали в разных уголках света. Уже в начале 1920-х годов Берлин, Париж, Белград, Харбин, Рига, София превратились в эмигрантские научные центры. Особняком среди них стояла Прага, которая, благодаря поддержке чехословацкого правительства, стала своего рода интеллектуальной столицей Зарубежной России. Говоря об историках-эмигрантах, следует вспомнить о Русском историческом обществе в Праге, Русском научном институте в Белграде, Археологическом институте имени Н.П. Кондакова, Русском археологическом обществе в Югославии, Русском заграничном историческом архиве, Обществе изучения Маньчжурского края и многих других организациях, созданных их силами или при их активном участии. Нельзя также забывать, что многие из ученых преподавали в эмигрантских средних и высших школах, например читали лекции на Русских юридических факультетах в Праге и Харбине, работали с аспирантами, и тем самым способствовали передаче интеллектуальной традиции.

История должна была служить инструментом связи поколений. Эта ее функция особенно подчеркивалась перед лицом угрозы быстрой денационализации русской молодежи за рубежом. Эмигранты старшего поколения были убеждены, что с потерей своего языка и своей истории исчезнет не просто духовная связь с Родиной, но вера в ее возрождение, а, значит, и надежда на возвращение домой. Поэтому столь большое значение придавалось преподаванию истории детям и молодежи в эмигрантских средних и высших школах. Профессиональные историки активно участвовали в формировании исторического сознания диаспоры, в создании нового образа России и конструировании памяти о ее прошлом. Некоторые из них написали специальные учебники, учебные пособия и лекционные курсы (Роберт Юрьевич Виппер, Николай Иванович Никифоров, Лев Михайлович Сухотин, Евгений Францевич Шмурло).

Бенедикт Андерсон (Benedict Anderson) ввел в оборот термин «воображаемые сообщества» (imagined communities). Он использовал его для описания феномена нации, которая представлялась ему как неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное политическое сообщество. Оно воображаемо потому, что его члены никогда не будут знать большинство своих собратьев, встречаться или видеться с ними. В то же время в умах каждого из них живет образ их общности. Даже вольное заимствование термина английского историка позволяет использовать его для описания российской эмиграции 1920–1930-х годов. Зарубежная Россия не имела своих границ, поскольку эмигранты были рассеяны по всем странам и континентам. Состав ее населения был необычайно пестрым и социально (от неграмотных казаков до академиков), и политически (от социалистов до фашистов). Элементами единства для эмигрантов, позволявшими вообразить себя единым сообществом, служили русский язык, религия и вера в особую культурно-историческую миссию. Не меньшее значение для русской диаспоры, как для любого духовного объединения, имела идея общего прошлого. Закономерно, что ученым-историкам отводилась особая миссия по сохранению исторической памяти.

Французский социолог Морис Хальбвакс (Maurice Halbwachs) отстаивал идею социальной обусловленности коллективной и индивидуальной исторической памяти. Он говорил о существовании социальных рамок, без которых невозможно складывание и сохранение представлений о прошлом. И эти рамки нельзя просто свести к датам и именам, ибо они представляют «течения мысли и опыта», в котором человек находит свое прошлое. Историческая память русской эмиграции могла выстраиваться как вокруг отдельного человека, так и вокруг социальной группы. Таким

образом формировались индивидуальные и коллективные представления о прошлом, которые в реальности были неразрывно связаны. Но во всех случаях эти представления складывались под воздействием социальных рамок. Поэтому даже память о прошлом одного конкретного человека определялась его вовлеченностью в социальные группы, начиная от семьи, и заканчивая национальной общностью. В случае Зарубежной России можно говорить как о памяти диаспоры в целом, так и о памяти военных и ученых, либералов и консерваторов, детей и взрослых и др. Помимо общих представлений, характерных для всей диаспоры, у каждой из этих групп была своя память о России и ее истории. Это вполне отвечает высказанной Хальбваксом идее о том, что каждая социальная группа по-своему конструирует прошлое в соответствии со своим собственным опытом. Потому и ученые-эмигранты, не составлявшие единой общности, (ре)конструировали прошлое разными способами. Конечно, в первую очередь речь здесь идет об отечественной истории. Нельзя забывать, что на чужбину были перенесены старые споры и конфликты, возвращенные еще на дореволюционной почве. Это ярко проявилось в свойственной эмигрантам научной конкуренции, академических конфликтах, неприятии определенных интеллектуальных течений (вспомним жаркие споры вокруг евразийства или вокруг 100-летия декабристов).

Знаменитый американский историк Марк Раев (Marc Raeff) как никто другой ярко охарактеризовал особенности эмигрантского исторического сознания. Многим изгнанникам казалось, будто на их глазах рушится не просто русская государственность, но все устоявшиеся обычаи и традиции, разрушается сама душа русского народа. Они стали свидетелями и участниками столь глобальных исторических потрясений, что осмыслить их было очень трудно. Еще сложнее было понять истоки этой катастрофы, осознать ее глубинные причины и найти в истории моральные опоры. Поэтому каждый образованный человек в эмиграции стремился создать новый, удовлетворяющий его, образ России: «Естественным в таких условиях было обращение к прошлому поиск там таких тенденций, которые, казалось бы, обещали другой вариант развития событий. Для русской диаспоры образы прошлого служили социальными, пространственными и временными ориентирами, ведь они содержали в себе представление о потерянной Родине. Бегство в прошлое должно было не только излечивать душу, но пробуждать чувство национальной гордости. На первый план выходил культ выдающихся исторических деятелей, «великих строителей России», «зодчих русской культуры», как называли их сами эмигранты. Их образы становились своего рода «идеальными типами», призванными служить моральным

примером для современников. Петр Великий выступал символом государственности, Сергей Радонежский – духовности, а Александр Сергеевич Пушкин – символом всей российской культурной традиции. Чаяния эмигрантов наглядно подтверждают слова Петра Бернгардовича Струве о том, что «Россию спасут и воскресят Дмитрий Донской и Сергей Радонежский, Петр Великий и Пушкин». Воспитанные в эпоху «постромантического национализма», они стремились «отмечать в прошлом прежде всего те черты, которые всегда были характерны для русского народа, его культуры, объясняли его историческое развитие». Иначе говоря, они искали особые «места памяти» (*les lieux de mémoire*), символические образы прошлого, которые, согласно мнению французского историка Пьера Нора (*Pierre Nora*), свидетельствуют о других эпохах и пробуждают ностальгические воспоминания. В таких «местах» память кристаллизуется и находит себе убежище, а образы прошлого объединяются, чтобы служить различным политическим, социальным или личным целям в настоящем. Причем символическое значение этих образов может меняться в зависимости от контекста употребления. В сознании эмигрантов, формировался идеализированный образ потерянной Родины. Налицо была переживаемая ими ностальгия, которая усиливалась по мере осознания невозможности вернуться назад. Идеализация прошлого вовсе не означала примирения с дореволюционным политическим строем, критиками которого в той или иной мере было немало русских эмигрантов. Они лишь стремились найти в прошлом те идеальные или материальные объекты, которые могли напомнить о России и внушить гордость за нее. Поэтому, например, рождалось желание заполнить свое жизненное пространство символическими предметами: русскими книгами, иконами, фотографиями. Впрочем, такое стремление нередко носило явно показной характер. Так уже упоминавшийся Петр Струве, который проделал удивительную эволюцию от марксизма к монархизму, демонстративно разместил на видном месте в своей пражской квартире портрет Николая II и трехцветный национальный флаг.

Русская наука за границей представляла собой многоуровневую, самоорганизующуюся культурную систему со своими ценностями и закономерностями развития, существовавшую в воображаемом пространстве Зарубежной России на пересечении дореволюционного прошлого и эмигрантского настоящего. Ее статус определялся осознанием особой эмигрантской миссии, направленной на сохранение культурных и интеллектуальных традиций вплоть до возвращения на Родину. Сочинения историков-эмигрантов не были достоянием лишь узкой научной

корпорации. Несмотря на то, что научные работы традиционно ориентированы на определенный круг читателей, исторические труды встречали живой отклик в эмигрантской среде. Это можно объяснить не только высоким интеллектуальным уровнем русской диаспоры, но и стремлением самих ученых к популяризации научных знаний, их вовлеченностью в общественную жизнь. Достаточно взглянуть на многочисленные статьи Александра Александровича Кизеветтера в русских зарубежных газетах, чтобы понять, как велико было количество работ, ориентированных на широкую публику. Среди эмигрантов можно было найти не так много ученых, писавших для «чистой» науки. Даже столь академичные авторы, как Иван Иванович Лаппо, Михаил Иванович Ростовцев, Владимир Андреевич Францев, Евгений Францевич Шмурло периодически печатали свои статьи в газетах и журналах. Русские историки следовали устоявшейся еще до революции традиции публиковать свои исследования в «толстых журналах», феномене русской журналистики, перенесенном и на эмигрантскую почву. Круг читателей у таких изданий был велик и интерес к публикациям огромен. Парижские «Современные записки» или «Голос минувшего на чужой стороне» изобиловали историческими материалами. Маргарита Георгиевна Вандалковская верно обратила внимание на господство «малых форм исторических сочинений», например, газетных статей.

Многие историки вольно или невольно участвовали в создании замешанного на культурном мессианизме эмигрантского мифа, который подкреплялся их личным опытом. Эти черты придавали русской науке за границей идеологизированный характер. Он выражался, к примеру, в желании противопоставить свободное интеллектуальное творчество, возможное, по мнению изгнанников, лишь на чужбине, рабскому и приниженному положению науки и ученых в Советской России. В то же самое время эмигранты стремились понять трагический опыт своих коллег, оставшихся на Родине, но духовно не принявших большевизм. Они пытались не просто реконструировать и осмыслить взаимоотношения советских властей и ученого сообщества, но проанализировать сам феномен развития науки в условиях идеологической несвободы. Поэтому оказавшиеся за рубежом интеллектуалы с таким вниманием следили (на основе доступных источников, разумеется) за внутренней жизнью научного сообщества в СССР, обращали свои взоры на тематику и методологию исследований, научную инфраструктуру, изменение интеллектуального климата, положение высшей школы, воспроизводство научных кадров.

Вместе с тем историки-эмигранты нередко противопоставляли себя новому культурному окружению. Неприятие у них вызывал буржуазный дух, мещанство западного общества, которые уподоблялись антикультуре. Этими настроениями наполнено, в частности, письмо Михаила Ивановича Ростовцева к своей давней знакомой Ариадне Владимировне Тырковой-Вильямс, датированное августом 1922 года: «И в Европе, и в Америке массы иногда глухо, а теперь открыто враждебны настоящей культуре <... > Да и по правде сказать, настоящая наука – это здесь только слова. Все это сводится к самым элементарным знаниям в области математики, естественных наук, истории, литературы». Если прежде мысли и раздумья о России в сознании интеллигенции так или иначе преломлялись через образ Европы, то в эмиграции картина резко изменилась. Философ Федор Августович Степун метко охарактеризовал подобное положение вещей: «Изгнанием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы. Любя Европу, мы, “русские европейцы”, очевидно, любили ее только как прекрасный пейзаж в своем “Петровом окне”; ушел родной подоконник из-под локтей – ушло очарование пейзажа». Реалии Запада нередко порождали духовное отталкивание от него. Как отметила болгарская исследовательница Галина Петкова, «вектор русской эмигрантской культуры первой волны [был] направлен на повышенную рефлексивность по поводу природы национального и судеб собственной русскости». Само изгнание привело к созданию нового, часто идеализированного образа России, ее народа и культуры и переосмыслению их исторического пути. Так рождались концепции российской самобытности, стремление обосновать особенность российского исторического пути. Самой заметным и влиятельным из этих идейных конструктов, стало, конечно, евразийство.

Система научных, культурных и бытовых ценностей русских историков-эмигрантов была ориентирована на код дореволюционной культуры. Следование ему проявлялось не только в интеллектуальной работе, но и на уровне организации повседневной жизни, что находило выражение в одежде, обстановке жилищ, пище, досуге и развлечениях и др. Эмигрантское бытие было неразрывно связано с мифом о потерянном Доме. Русских ученых за границей объединяла мысль о необходимости сохранения, развития и приумножения достижений дореволюционной гуманитарной науки. Всех их роднила самоотверженная любовь к истории и стремление заниматься исследовательской работой даже в экстремальных жизненных условиях. Большинство историков старшего и среднего поколения продолжали заниматься избранными еще до революции сюжетами. Лишь немногие из них использовали пребывание за границей для расширения тематики своих исследований, как, например,

Антоний Васильевич Флоровский, который до революции изучал преимущественно эпоху Екатерины II, а оказавшись в Чехословакии, сосредоточился на проблематике русско-чешских связей.

Почти все ученые-эмигранты продолжали свои исследования в русле дореволюционной историографии. Ориентация на дореволюционную научную парадигму порождала методологический консерватизм, выразившийся в слабом внимании к теоретическим наработкам иностранных коллег в 1920–1930-е годы. А ведь в это время складывалась школа «Анналов» (*École des Annales*), в историческую науку проникал психоанализ, зарождалась интеллектуальная история! Потому иностранные исследователи нередко критиковали (и вполне справедливо) теоретические построения своих русских коллег, как то сделал, например, знаменитый Люсьен Февр (*Lucien Febvre*) в отзыве на трехтомную «Историю России», одним из редакторов которой был Павел Николаевич Милюков. Его приговор звучал жестко, но вполне оправданно: «А когда я открываю “Историю России”, передо мной мельтешат придурковатые цари, словно сошедшие со страниц “Короля Убу”, взяточники-министры, попугаи-чиновники, бесконечные указы и приказы... <... > История – это то, чего я не нахожу в “Истории России”, а посему она кажется мне мертворожденной». Были, разумеется, исключения, вроде Петра Михайловича Бицилли и Николая Петровича Оттокара. Оба внимательно следили за историографической динамикой, и при этом оба, что важно, были специалистами по западноевропейской истории. Первый был известен как крупный знаток итальянского Возрождения, а второй – как историк итальянского средневекового города. Был и работавший в Китае профессор Иван Иванович Гапанович, который едва ли не единственным из русских эмигрантов попытался осмыслить теоретические новации в исторической науке. В 1940 году он по-английски опубликовал в Шанхае книгу, в которой проанализировал основные историографические течения современности, обрисовал актуальные проблемы, например вопрос о применимости математических методов в историческом исследовании или же перспективы исторической компаративистики. Своим читателям он продемонстрировал глубокое знание не только классических работ, но также трудов своих современников – Анри Берра (*Henri Berr*), Макса Вебера (*Max Weber*), Бенедетто Кроче (*Benedetto Croce*), Фридриха Майнеке (*Friedrich Meinecke*), Питирима Сорокина, Арнольда Тойнби (*Arnold Toynbee*), Люсьена Февра (*Lucien Febvre*), Освальда Шпенглера (*Oswald Spengler*) и других. Гапанович был уверен, что в современных условиях вообще вряд ли возможно выделить единую интерпретацию исторического процесса, а вместе с ней эксклюзивную методологию. Но для большинства

русских ученых-эмигрантов зарубежные методологические новации оставались незамеченными. И все же нельзя сказать, что они были полностью оторваны от внешнего мира и замкнулись в выдуманном ими же пространстве Зарубежной России. Они, разумеется, соприкасались с иностранными коллегами, принимали участие в международных конференциях, читали лекции в зарубежных университетах, иногда даже занимали кафедры (как, например Георгий Острогорский, ставший одним из основателей византистики в Югославии, или Сергей Коновалов, который в с 1945 по 1968 годы возглавлял кафедру славистики в Оксфордском университете), публиковали свои труды на разных языках. Связи с иностранными коллегами складывались и развивались не всегда гладко. Безусловно играли свою роль и научная конкуренция, и простое непонимание, вызванное устойчивыми этнокультурными стереотипами, и ментальные различия. Специалистам по России приходилось сложнее, чем их коллегам-всеобщникам, поскольку в межвоенный период спрос на российскую историю за границей был невелик. Адаптация к новым условиям жизни и работы протекала для многих ученых весьма болезненно. Психологическая и социальная готовность к значительным жизненным переменам была крайне низкой. Долгое время ученые были уверены, что смогут вернуться на Родину, поэтому не стремились сливаться с иностранной интеллектуальной средой, идентифицировали себя с русским миром. К примеру, оксфордский профессор Сергей Коновалов в письме к советскому лингвисту Степану Григорьевичу Бархударову признавался, что считает себя «русским, не перешедшем в английское подданство, которому в 1918 г. было дано советским правительством разрешение отправиться за границу для получения высшего образования».

Но помимо социальных проблем, русским историкам пришлось столкнуться и с трудностями мировоззренческими. Первая мировая война, ужас перед техническим прогрессом, породившим отравляющие газы, танки, самолеты, дальнобойные орудия, крах европейских империй, русская революция и начавшаяся за ней братоубийственная бойня нанесли сокрушительный удар по вере в общественный прогресс. Сама история ворвалась в судьбы ученых, изменила их профессиональный и социальный статус, лишив Родины и привычного жизненного уклада. Она отложила неизгладимый отпечаток на их творчество и заставила многих переосмыслить прежний исторический опыт. Катастрофические события первой четверти XX века нанесли серьезный удар по одному из главных постулатов российской либеральной историографии – вере в закономерную общественно-

политическую эволюцию. Но даже те, кто не относился к либералам, в полной мере узрели слом эволюционного движения истории.

Эмигранты пытались переосмыслить исторический опыт Запада в свете Первой мировой войны, воспринимавшейся как кризис европейской цивилизации. Показательно мнение одного из евразийских вождей князя Николая Сергеевича Трубецкого, отметившего, что «война смыла белила и румяна гуманной романо-германской цивилизации, и теперь потомки древних галлов и германцев показали миру свой истинный лик – лик хищного зверя, жадно лязгающего зубами». Действительно, Первая мировая война послужила прологом к катастрофам XX века. Как подмечено современными исследователями, она «полностью изменила мир, разорвала существующие социальные и политические порядки, ввергла человеческую цивилизацию в жесточайший кризис», «развязала жестокость и ненависть», которые окрасили все столетие.

В 1923 году в Берлине был опубликован примечательный сборник очерков под названием «Круговорот истории». Его автором был Роберт Юрьевич Виппер, один из талантливейших ученых своего времени, чья судьба сделала немало причудливых поворотов на виражах истории. «Круговорот истории» Профессор Виппер писал с 1917 года по 1920 год и отразил в нем желание понять переживаемые события, «...в самих катастрофах думалось увидеть естественные последствия роковых данных, заложенных в предшествующей культуре, которую мы привыкли звать культурой XIX века. Обозревая свои статьи и лекции в целом, автор чувствует, что как бы ни была специальна тема, лежавшая в основе каждой из них, он неизбежно возвращался к критике системы жизни и мировоззрения XIX века». Историка пугали натиск неумеренного и неконтролируемого технического прогресса, обернувшегося на практике совершенствованием разрушительного оружия, нагнетание нетерпимости между разными народами, лицемерие правящих кругов, социальная неустроенность, жестокость и воинственность, упадок нравов, идейные противоречия и, как следствие всего этого, закат культуры. История еще не знала примеров «столь быстрого распада едва сложившейся цивилизации», со страхом и горечью писал ученый. Виппер отнюдь не был склонен считать причиной кризиса Первую мировую войну. Напротив, сама война была для него лишь «показателем и результатом крушения всей системы европейской жизни», она лишь «обнаружила глухой ужас, клокотавший под спокойной на вид поверхностью Европы». Если свести авторскую позицию к одному тезису, то Роберт Виппер выступал критиком «воинствующего империализма», составными частями которого для него являлись колониальные захваты и индустриализация. Книга русского

профессора, таким образом, ясно очертила ситуацию катастрофизма исторического сознания, слома традиционной прогрессистской модели времени. Интеллектуальные построения русских историков-эмигрантов были порождением «долгого XIX века». Еще недавно они, как и многие европейские интеллектуалы, считали неизбежной реальностью построение индустриального и прогрессивного, гуманного и демократического, культурного и цивилизованного, современного и легитимного мира. Теперь все это рухнуло, «волны злости, страха, отчаяния заполнили сознание огромных людских масс». Для историков было важно понять исторические корни переживаемых катастроф и дать себе ответ на вопрос: а были ли они неизбежны? Сложность вопроса породила многочисленность ответов и ожесточенность споров.

Морис Хальбвакс делал вывод об особом восприятии человеком новейшей истории. Он расценивал ее как эпоху, которая зафиксирована в его живых воспоминаниях. Эти воспоминания являются прямым отражением пережитого опыта. Отношение эмигрантов к недавнему прошлому было неоднозначным. И эту неоднозначность можно объяснить тяжестью воспоминаний, которые навевали им мысли о потерянной Родине, и о тех трагических событиях, которые им пришлось пережить. С одной стороны, налицо было желание понять корни произошедшей исторической катастрофы, но, с другой стороны, воспоминания о недавних событиях травмировали душу и поэтому о них нередко желали забыть. Свою книгу воспоминаний «На рубеже двух столетий» профессор Кизеветтер заканчивал рассказом о том, как летом 1914 года на даче близ Можайска он встретил известие о начале Первой мировой войны: «Но для описания того, что пришлось пережить за время войны и революции, потребовалась бы книга много больше той, которую я решаюсь предложить теперь вниманию читателей. Да и трудно было бы писать сейчас такую книгу. Тяжело берeditь незакрывшиеся раны». Мемуары о жизни в Советской России он написал, но так и не издал.

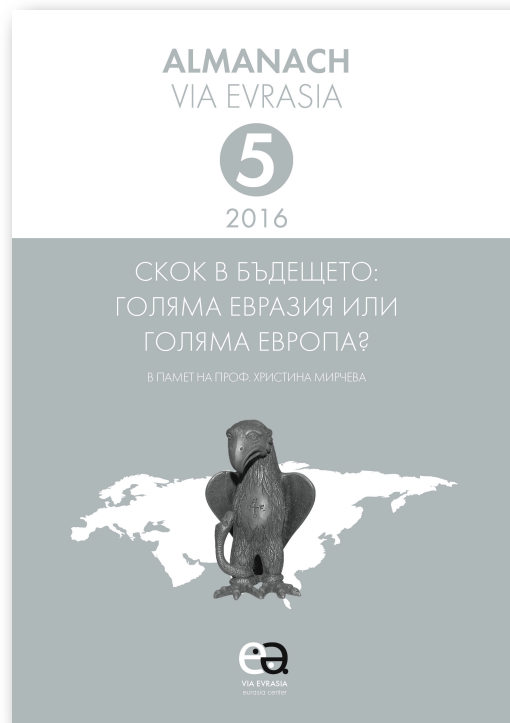
Бенедетто Кроче (Benedetto Croce) был прав, когда отмечал, что «факт, из которого творится история, должен жить в душе историка», что только интерес к осмыслению настоящего может заставить обратиться к изучению прошлого. И, действительно, переживаемые лично или наблюдаемые со стороны события отражались на системе взглядов ученых-эмигрантов, на их представлениях о времени и о себе. Прошлое и настоящее связывались незримой нитью. Приведем один пример. В 1931 году в Париже была издана книга Карла Карловича Миллера о французской эмиграции в Россию в царствование Екатерины II. Автор был неплохим дипломатом и очень хорошим финансистом, исторические

штудии были для него лишь хобби. Но работал он талантливо, а оттого и книга его была тепло встречена современниками и до сих пор не потеряла своей значимости. Но речь сейчас не о ней, а о важном побудительном мотиве к ее написанию. В предисловии к своему труду Миллер писал: «В годы изгнания, в годы вынужденной оторванности от родины, мысль, обращаясь к прошлому, невольно останавливается с особым пристрастием на тех эпохах, которые представляют известное сходство с переживаемым нами историческим моментом. Именно это частичное сходство, пусть далеко не полное, пусть обманчивое, придает в наших глазах этим эпохам, – когда другим народам пришлось переживать нечто подобное тому, что теперь выпало на нашу долю – какую-то особую, исключительную значительность и делает изучение их необычайно заманчивым». Опыт французских эмигрантов, вынужденных оставить свою страну после революции, незримо перекликался с судьбами современных русских эмигрантов.

Эмигрантская идентичность представляла собой изменчивую, динамическую систему, выстроенную из реальных и придуманных образов, в которой сочетались преемственность и новации. Имеется в виду принадлежность к диаспоре и эмигрантскому самосознанию, которое опиралось на общую систему символов и выросло из общего прошлого. Для русской диаспоры преемственность заключалась в ориентации на код дореволюционной культуры, а новации были вызваны переосмыслением исторического пути России под воздействием Первой мировой войны, революции, Гражданской войны и изгнания. Эти переломные события раскололи русское общество, видоизменили жизнь каждого его представителя, нарушили привычный ход жизни. Они отразились на представлениях о времени и о себе, на культуре памяти о прошлом.

Переосмысление исторического опыта России было вызвано стремлением осознать переломные события российской и мировой истории. Но не следует забывать, что 1920–1930-е годы ознаменовались в жизни Европы колоссальными идеологическими подвижками. Произошел необычайный рост национал-патриотических настроений. В массовом сознании европейцев распространялись националистические мифы «крови и почвы», происходила героизация насилия и поиски мифических предков для доказательства своей этнической исключительности. Иначе говоря, произошел взрыв «иррациональных мотиваций политического мышления и поведения масс и политической элиты». Поэтому эмигрантская среда стала благодатной почвой для зарождения и развития разнообразных политических мифов. Их базовой основой почти всегда становилась отечественная история, в которой пытались найти ответы на

злбодневные современные вопросы. Значительная часть изгнанников вполне осознанно участвовала в их создании, желая обосновать особую эмигрантскую идентичность и попытаться сконструировать идеальное прошлое и будущее. Таким образом, диаспора создавала новый образ истории своей потерянной Родины, особую культуру памяти о прошлом, особые модели времени.



ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5.

**СКОК В БЪДЕЩЕТО:
ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА
ЕВРОПА?
В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА**

VIA EVRASIA 
евразийски център